С ночи до ночи сыплет и сыплет снег.
Стылый проспект становится глух и слеп.
Равен потере памяти снегопад.
Люди в квартирах будто впервые спят.

Как ни мечтай, но белым не стать листом.
Мне на роду написано быть потом.
Древние срубы, тонущие в огне,—
Старая злоба давит на спину мне.

Все виноваты. Кажется верхом лжи,
Что в двадцать первом праведно можно жить.
Столько столетий бьются в моей груди
Зверь с человеком: кто из них победит?

Снег приглушает время. Горят огни.
Холодно. Колокол над головой звонит.
И в этом звоне площадь ясней видна,
Так же как птица, если летит она.

Если и писать, то лишь о большом,
О животрепещущем, о больном.
Чтобы всё, что тайное,—нагишом,
Чтобы стих, как совесть,—с прямой спиной.

Если и писать, то пройти насквозь
Всё: строку, мгновение и пейзаж,
Только мысль цепляется, как за гвоздь,
За кривую вывеску «Трикотаж».

Сапогами Невский съедает снег,
Разноцветно щурится магазин.
И в попытке тщетной оставить след
Огоньки подпрыгивают в грязи.

Если и писать… Что ж ты, голова?
Мысль, уйдя с задуманного пути,
За бумажкой, сорванной со столба,
Легче тени облачной полетит.

Проступает комната за окном,
Как комар, впечатавшийся в смолу.
Лишь лицо маячит своим пятном,
Расплываясь выдохом по стеклу.

Вещь врастает в вещь. Со стены картин
Не убрать. Сливается стул с углом.
Это натюрморт. Человек один
Неуместен здесь со своим теплом.

Дом обычно холоден, нелюдим.
Сушит хлеб на блюдце, хранит золу.
Человек приходит домой один,
Тишину спугнув и встревожив мглу.

Человек скорее хватает пульт.
Ухо к трубке прикладывает. Врачи
Так у стылых тел проверяют пульс
И, послушав пульс, говорят: стучит.

Заслонён подушкой сквозняк в груди.
Рядом дышит кто-то как будто твой.
Циферблат моргнул, показал: один.
Ночь сошлась без всплеска над головой.

Шёл город по своим делам.
Ползла к обеду тень.
И скрипка тоненько плыла
В сиреневом кусте.

А в двадцать первом меж людьми
Такая теснота.
Ты в телефоне носишь мир—
И всё же сирота.

Не победить мне эту боль,
Не поделить с тобой.
Но музыкант возьмёт бемоль,
А зазвучит—любовь.

Так были взяты фа-ми-ре,
Так преломился свет,
Что взмыли скрипка и сирень,
Переросли проспект.

Забыл он, что за времена,
Куда бежать скорей.
Всё слушал, как цветёт струна
И как звенит сирень.

Совсем как записной постмодернист,
Проспект с утра заваривает кашу.
Взирает Гоголь с пьедестала вниз.
Повсюду гомон, шарканье и кашель.

Узбеки на лесах вдесятером
Фасад штурмуют. А императрица,
Съев чебурек напополам с Петром,
Выпрашивает фото у туриста.

А у меня в затерянном дворе,
В тишайшей, самой дальней из галактик,
Полощет горло голубь на заре.
Полою пёстрой хлопает халатик.

И, переменам вход загородив,
Стоит на страже ржавая калитка.
Прилипший к ней предвыборный призыв
Дождями смыт, как времени улика.

Который век, которая война.
Который на престоле император.
Моё наследство—давняя вина
За каждого, страдавшего когда-то.

Но во дворе всегда лишь сизый свет
Да голубей бессловная молитва.
И миллионы, миллиарды лет
Отсюда до проспекта за калиткой.

Тесня пространство локтем и плечом,
Одушевлённо улица течёт
Вперёд, из-за угла, навстречу, мимо.
Как волнами высокими, людьми
На мостовые плещет и шумит,
Неумолима, неостановима.

Я тоже меж других под этот шум
Из года в новый год перехожу
Зелёным светофорным человечком.
И невесомо, на манер идей,
Все переходят из людей в людей
По тротуарной вечности невечной.

Бредёт старик—клюка и седина.
И будто не его—моя спина
Слабеет, и мои трясутся ноги.
За мной бежит ребёнок, семеня.
Он тоже я. Он узнаёт меня
И мяч, смеясь, перед собою гонит.

И каждого родившегося боль
Я чувствую. И каждый смертный бой
Во мне звучит чужим сердцебиеньем.
Одним дыханьем движется проспект.
В толпе мелькает маленькая смерть,
И ей одной не справиться с теченьем.